

А. Е. Егоров
(Санкт-Петербург)

Востребованность и ловушки «мелочного» дискурса

«Parva leves capiunt animos» (лат. «мелочи прельщают легкомысленных»). Смысл этого латинского выражения символизирует «нормальную» логику, заданную античностью с ее рационалистично-умеренным мировоззрением, которая оценивала вещь в соответствии с качеством — чем меньше в ней изъянов, тем лучше, если же в ней только один изъян, то она подобна идеалу. Эта спокойная соразмерность сопровождала все древнегреческое философствование, подчеркнута разумно относившееся к вопросу о «размерности» вещей, определяя то самое место, которое полагается им в зависимости от степени их значимости (или незначимости). Известный платоновский ход: существующая вещь чуть хуже идеи, художественное изображение вещи еще хуже, а упоминание об изображенном, по-видимому, настолько далеко от сущего, «измельчая» его, что губит смысл окончательно. В диалоге «Лисид» выведена подобная ситуация: герои обсуждают «любовь», описанную в книге одного из современных писателей, и Сократ считает нужным указать, что рассуждать именно по «написанному» чрезвычайно трудно, а потому призывает (как он обычно это и делал) заговорить, если не «сначала», то, по крайней мере, не учитывая источника. Таким образом, в античном дискурсе необходимо совершать поправку «возвращения» на более «высшую» ступень — то есть стремиться увидеть истину крупным планом.

Иначе обстояло дело в дальнейшем дискурсе, основанном на христианской традиции. С «мелочью» произошло нечто такое, в результате чего она покинула нишу, отведенную ей «здравым смыслом» и была обречена претерпеть определенную аберрацию.

И действительно, Новый завет характеризуется особым оттенком акцентирования мелочей, что отличает его в этом отношении не только от древнегреческих произведений, но и от религиозного источника, ему предшествовавшего. Ветхозаветного Бога часто обвиняют в «неоправданной жестокос-

ти», но в его защиту свидетельствует то, что в отношении мелочей он как раз проявлял примечательную адекватность. Содом с Гоморрой успели нагрешить на несколько поколений вперед, прежде чем господь вышел из терпения — Евангелие же хранит память о «преступлении» учеников, заключавшемся в том, что они нечаянно заснули в отсутствие Христа: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною» (Матфей, 26, 40) (подразумевается, что они были рядом все время, но вот как раз одного часа соблести не смогли), — и эти слова непрестанно вызывают жгучий стыд у всей последующей традиции. Еврейский народ в пустыне получил манны столько, что «каждый собрал сколько ему съесть», но для христианского восприятия Бог является подлинным владыкой лишь тогда, когда он производит операцию насыщения «великого множества народа» таким малым количеством еды, само обозначение которого должно приводить по-гречески «разумно считающего» субъекта в шок: «Но что это для такого множества?» — спросили апостолы, и тут же были посрамлены. Или же: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила», — этот паралогический ход, демонстрирующий относительность «великого и малого», оказался главным силлогизмом европейской душевной логики, характеризующейся нарочитой парадоксальностью, гротескностью малого. «Полуумный — вдвойне дурак», «лучше преступление, чем мещанство» — подобный ход мысли для античности непредставим. «Всякое благо вместе с другими предпочтительней, чем одно», — читаем у Аристотеля в «Никомаховой этике». Таким образом, между преступником и ханжой выбор античной личности склонится в пользу последнего, поскольку от него есть хоть какая-то польза. Но европеец (христианин) одобрит скорее окончательно испорченного субъекта (который хорош уже тем, что его испорченность достаточно велика, чтобы быть заметной), чем приличного на первый взгляд человека, ставка на идеальность которого сделает бесконечно болезненной каждую подмеченную мелочь, характеризующую его со стороны, противоположной хорошему.

Выражение «все не слава богу», парадоксально относимое, скорее, к досадным мелочам, уничтожающим цельный смысл деяния, как раз напоминает о связи с религиозным моментом в происхождении традиции возвеличивания ме-

лочей. Но и точные науки, несмотря на свою «светскость» (а также неоспоримое родство с античным вариантом мышления), не только не нормализуют гротескности мировоззрения европейского субъекта, но, напротив, характером своих выводов поставляют материал для подтверждения и углубления «мелочной традиции». Чем большее число берется в сравнении с бесконечностью, тем более шокирующим оказывается закономерное приравнивание его к нулю — то есть превращение в абсолютную мелочь. Подавляющее большинство суждений европейского индивида построено в соответствии с трагической моделью гиперболы, которая портит настроение тем, что до смыкания с осью ей постоянно остаются «сущие мелочи». «Если вам говорят, что осталось доделать совсем чуть-чуть, значит работа никогда не будет завершена», — этот вывод из современной менеджерской практики выглядит делопроизводительской шуткой, но на самом деле парадоксальность содержится не в его форме, но в способе оценки происходящего, давшей пищу подобному юмору.

Психоанализ, очевидно, воплотил в себе торжество этой потребности, наловчившись в вытаскивании той бессознательной изнанки, которая хотя и считается скорее даже «преобладающей», чем «малой», но проявляется таким тонким образом, что подпадает под тот же самый архетип восприятия. Весь европейский поиск истины, все «вытаскивание» правды проистекает из проблемы «мелочей»: обыденный ход научной мысли состоит в том, чтобы выкапывать тех собак, которые зарыты так глубоко, что о них все давно позабыли. Подобный образ действий привычно объясняется «поисковой активностью», но опять именно категория «мелочного» является вечным двигателем познания: мелкое, не принимавшееся ранее во внимание, возвышается, что порождает приток на его место других мелочей, которые теперь требуют восстановления справедливости относительно первой, уже оцененной, и т. д. Упустивший «мелочи» обречен на забвение, поскольку считается, что в перспективе все явления должны войти в нишу значимого «великого», которая пока не заполнена до конца, что и опосредует мыслительный прогресс. На самом деле, прежде всего вакантным должно быть место самой «мелочи» — иначе импульса возвеличивания просто не возникнет. «Оценить по достоинству» можно лишь

малое, мелкое. Страх «упустить мелочь» и этим опозорить весь смысл собственных научных выводов постоянно преследует европейского субъекта.

Демонстрационным «методическим» материалом, раскрывающим генеалогию и способ осуществления дискурса мелочей, представляется текст книги Рамона Льюля «О Любящем и Возлюбленном», где буквально в каждом стихе намечена модель реализации «мелочного момента» в христианском «пространстве идей».

Нежный Рамон Льюль, певец повседневной веры, так передает чувства страстно религиозного человека: «Оскорбляли при Любящем его Возлюбленного, и открылась ему благодаря этим оскорблениям и справедливость возлюбленного, и его долготерпение, ибо справедливость обрушивалась на оскорбителей, а долготерпение давало ему надежду в раскаянии и покаянии. Спрашивается, какой из этих двух источников сильнее питал веру Любящего?»¹. Может показаться, что вопрос здесь задан «с нуля», как бы в первый раз требуя выбора между двумя альтернативами. При этом сразу осуществляется переход к неизбежному выводу, что важно «все», поскольку для верующего («Любящего»), очевидно, нет мелочей там, где речь идет об идее «Возлюбленного» (Бога). Но на самом деле в тексте скрыто присутствует сразу множество дискурсивных слоев, в каждом из которых представлена своя расстановка приоритетов. Христианский субъект, «идуший к богу», не единожды спотыкался на том, что провозглашал нечто «великим», «самым важным» в вере, и пренебрегал другим, после мучительно раскаиваясь, с горечью осознавая, что снова «промахнулся». «Неясно лишь, какая из двух вещей...», «спрашивается, что более...» и т. п. — подобные вопрошающие ходы встречаются у Льюля многократно, задавая бесконечный «круговой» дискурс, в котором то одно, то другое поочередно признается «неважным» с тем, чтобы в очередной раз, «заступившись» за попираемое, утвердить его заново, хотя бы и ценой остальных, теперь отступивших в тень и упущенных моментов.

Прогрессивный смысл здесь состоит в том, что после каждого акта расстановки наученный горьким опытом дол-

¹ Льюль, Р. Книга о Любящем и Возлюбленном. СПб., 1997. С. 65.

жен ошибаться все меньше. Это та же гипербола, сближающаяся с осью прямоты «правильной веры», но сама всегда не прямая и «неправильная». Прежде, чем научиться на первый взгляд простому и логичному (для контекста предзаданного «совершенства») действию «держат в уме все, держа все за важное», необходимо пройти через многократное испытание на «мелочность», пережить состояние раскачивания, провоцирующего множество крайностей и последующих отрезвлений. Именно в этой дискурсивной укладке и состоит христианский способ продвижения к истине. «И если приглядываясь к твоим рассуждениям, я сочту что-то ложным, изыму это и выброшу, то не свирепей, пожалуйста, как роженицы из-за своих первенцев», — поощряет Сократ Теэтета. Но для выросшего из христианской культуры и воспитанного на идее беспокойства за абсолютность совершенства отставив «что-то» — значит бороться за все в целом. Угроза «выбрасывания» активизирует главнейший импульс «сбережения мелочей», которые берегутся не из-за «мелочности» сохраняющего, но именно потому, что с их исчезновением, как потенциального «самого главного», может произойти непоправимая дискурсивная поломка.

«Жаждет любящий бытия, вдохновленный совершенством своего возлюбленного, и жаждет небытия, подавленный своим несовершенством. Неясно лишь, какой силе удастся в конце концов взять верх над любящим»². Спор о том, что «более», а что «мелочнее», — это спор ни много ни мало, как о бытии в целом, и потому неприемлемая для Сократа «свирепость» в отношении мелкого является естественным и вообще единственным способом реакции подлинно «европейского» субъекта.

Социум также отзывается на этот импульс, что вызывает различные изменения в «воззрениях масс» и приводит к возникновению целого ряда психологических эксцессов. Психиатрия всерьез могла бы заявить, что непрерывный рост неврозов навязчивых состояний, основанных на потребности в выполнении какого-либо незначительного, но важного для субъекта действия, в немалой степени обусловлен этой об-

² Льюль, Р. Указ. соч. С. 61.

щекультурной традицией «парвафилии» (любви к мелочам), которая у невротика трансформируется в «парвафобию» (страх перед их упущением). Страдающий обсессивным неврозом, переходя оживленную улицу, мучительно вспоминает, закрыл ли он дверь на два оборота ключа — это та мелочь, которая внушалась ему с детства и, наложившись на душевную слабость, вызвала появление «гротескного невроза». Но если бы случилось так, что из-за занятого ключом и дверью внимания он был бы сбит автомобилем, то общество (если бы оно каким-либо образом могло узнать содержание его мыслей в тот момент) патетически воскликнуло бы: «Погибнуть из-за такой мелочи!» — и тут же, получив дополнительное подтверждение, парадоксальным образом принялось бы делать выводы о том, какую же роковую роль может сыграть мелочь в жизни человека.

Но не только «жизнь» — вся история становится возможной лишь «оттого, что в кузнице не было гвоздя». Наморк, якобы помешавший Наполеону в день самой главной битвы, — вот истинный размах, та амплитуда фактов, которая в глазах общества придает происходящему убедительность и правдоподобие. Та соломинка, которая сломала спину верблюда (не тот ли это верблюд, который в Библии пролезал через бесконечную малость игольного ушка?), обладает неизмеримо большей реальностью, чем весь остальной груз, и, в крайнем варианте, даже большей, чем само животное.

Особенного совершенства в подобном способе видения достигла реформаторская традиция, кредо и одновременно символом которой стала пресловутая бесконечная рассудительность. В «Питере Пэне» миссис Дарелл путем нескольких нехитрых импликаций выстраивает достаточно неотвратимую (чтобы напугать протестантского субъекта с его разумной мелочностью) связь между незавязанным галстуком и смертью под забором. Чрезвычайно эффективным сценическим решением ситуации должен считаться следующий после окончания мелочного силлогизма плач детей, присутствовавших при этой сцене и в полной мере оценивших жуткую логичность материнских предсказаний. Эта «слезинка ребенка» (тоже, как известно, одна из «великих мелочей») должна служить справедливым укором нечестивцу, повинному в самом страшном из всех возможных в реформаторской тра-

диции грехе — пренебрежении к мелочам. Протестантизм создает свою собственную иерархию адовых кругов, и круг для «забывших о малом» в ней, очевидно, обозначается не самым малым числом. Зато попадание в рай является последней мелочью, которую должен предусмотреть пуританин, — мелочью уже не по значимости, но по легкости осуществления, автоматически предзаданного выполнением своего жизненного «мелочного долга», — кстати, как считается в приличном обществе, маленькие долги также нужно отдавать с большей точностью, чем крупные.

«Российское» мировоззрение также основывается на некотором методе работы с мелочами. Но если протестантская традиция использовала его с тем, чтобы достичь совершенства в этикете (пусть даже и буквально «смертельно» важным), то российский мелочный дискурс служит уже полноправно этическому поиску «высшей правды». Читатель русской литературы постоянно запугивается копеейкой, которой не хватило бедняку на ночлег, закоулками Невского проспекта, «маленькими людьми» в конце концов. Даже утилитарно-бытовое значение мелочи сводится к «бытийному»: ответ на классический вопрос собутыльников перед магазином «А сколько у нас мелочи осталось?» может определить значительность или, напротив, бесполезность проживания сегодняшнего дня. Дискурс о мелочи раскрыт вовсю, и пик его активизации, очевидно, приходится на момент революции в связи с провозглашаемой программой «восстановления справедливости». «Кто был ничем, тот станет всем», — вся острота мелочного софизма воплотилась в этом лозунге. Только для античности «Ничто» было особой категорией, строго не допускавшей в себя ничего существующего. Для русского видения «ничто» и есть та самая мелочь: «Давайте, ребята, поднажмем! Доделаем дело! Буквально ничего осталось».

К этой же игре подключается уже советская литература, впервые получив желаемое и осуществив так давно лелеемую «страсть по мелочи». Соответствовать ситуации, очевидно, мог лишь реалистический жанр, имеющий право по своему усмотрению демонстрировать то, что раньше считалось недостойными художника мелочами, — и здесь сработал механизм, на самом деле давно запрограммированный «в мелочном дискурсе», но до этого в полной мере не проявляв-

ший себя в действии, а потому успешно перехитривший все нарекания в адрес «жизнеописания»: «Искусство вообще не может быть реалистическим... Подлинно реалистическое описание должно быть бесконечным», — рассуждал Камю, справедливо замечая, что и сотни томов не хватит художнику, если он будет претендовать на описание всех мелочей происходящего. Но он не учел одной важной вещи (снова мелочи?) — симбиоз реалистической традиции изображения и эффекта «выворачивания мелочи». Будучи сам глобальным абсурдистом, он не заметил той частной практической абсурдности, на которой реализм построен и благодаря которой ему совершенно необязательно быть «тотальным», всеохватывающе дотошным — достаточно однажды задать преувеличенность, обучить субъекта ее методу, и она начнет работать на все остальное, что действительно, как верно отметил Камю, «физически» не вмещается в текст. Какой-нибудь неожиданный жест, глупое словцо делает книжного героя живее всех живых.

И тем не менее величайший парадокс реалистической традиции в ее советско-идеологическом облике состоял в том, что она внушала одновременно как уважительное внимание к «мелочи», так и жесткое презрение к ней. «Для советского человека нет мелочей», «агент попадает на мелочах», но «мелочность мешанины», «узость взглядов интеллигенции»... Эти полисемичности являются лишь поверхностью проблемы — советский человек непрестанно стоит перед необходимостью не просто выбирать из мелочи и подлинно крупного, но обречен сам, своим собственным чутьем определять то, что можно считать мелочью в каждом случае. Именно в этот момент вопрос о мелочах разветвился, запутался и зашел в тупик (видимо, такая запутанность может считаться одним из признаков присутствия репрессивной идеологии). Вся несогласованность осмысления требовала разрешения, сведения хаоса смысловых обрывков в некую дискурсивную целостность. И эта возможность была предоставлена, как говорится, самой историей, вынудившей уже наученный двойственностью мелочи социум пережить ситуацию, выведшую на поверхность и заново развернувшую всю скрытую подоплеку «мелочного вопроса». И такой ситуацией стала война, а конкретно ленинградская блокада.

Сама «экстремальность» блокадного бытия, как кажется, представляет собой наилучший способ «проверки» всего накопившегося культурного материала о мелочах. Это проверка не просто даже «жизнью», но «выживанием» — то есть самой неприкрытой непосредственностью, достоверность которой является гарантом достоверности идеальных выводов. Действительно, именно характерная для всех катастроф «спрессованность» реальности (как наглядность осуществления линии «жизнь-смерть») может позволить «на практике» проверить значение тех или иных положений — последствия являются себя практически мгновенно, и к «проблеме мелочей» это, очевидно, относится в наибольшей степени. Общеизвестно, что текст о блокаде (как и о любой трагедии) — это всегда текст о «страшных мелочах», но в большинстве случаев выводы блокадных авторов остаются в рамках традиционного реализма и опять, вслед за предзаданным им противоречием, делятся на две группы — культивирование мелочей, качество выполнения которых чревато выживанием или смертью, и, с другой стороны, уничтожающая (закономерно особенно жестокая) критика мелочности тех, кто раздражает своей суетливостью или приспособленностью.

Как может показаться, вторая посылка более груба в своей моралистичности, первая же представляется более оптимистичной благодаря своей «деятельности». Но на самом деле негатив презрения и позитив восхищения очевидно не противостоят друг другу, но вообще относятся к разным слоям бытия и подразумевают различные жизненные сферы, необходимо соединенные друг с другом практической задачей выживания, в контексте которого оправдана и та, и другая «мелочность». Эта необходимость даже не уточнения, но осуществления подобной разноплановости оценки была первым уроком как неправомочности привычного отнесения к «мелочам» тех или иных явлений, так и неоднозначности «проблемы мелочей» в целом. И все же этого оказалось недостаточно, чтобы прочувствовать не просто «сложность» или «многогранность» «мелочного аспекта», но и ощутить предзаданную неправильность, абсурдность самой постановки вопроса «мелочей».

Большинство авторов, даже принадлежащих к «тонкой интеллигенции», литературной элите, описывая блокаду, все

равно не продвинулись дальше первого акта утверждения «единства и борьбы противоположностей» отношения к мелочам, обходясь зачастую почти механическим сочетанием «той» и «этой» правды. Описания «героической повседневности» жителей соседствовали в романах с осуждением «чрезмерной привязанности» к собственным страданиям, преувеличение которых оскорбляло глобальность катастрофы. «Общее» и «личное» не давало писателям покоя, уродуя и без того искаженную схему оценки. Но есть и другие произведения, более сложного плана, к каковым относятся, к примеру, «Записки блокадного человека» Л. Гинзбург, о которых Пастернак отозвался следующим образом: «Перед автором стояла задача раскрыть механизм повседневного разговора, житейщины»³. У Гинзбург блокадный город не «живет», а «говорит», и можно предположить, что сама по себе ставка не на «событийность», но на «разговорность» фабулы, на «текстовость» (которая, как известно, «уточняет» отображение, автоматически углубляя смысл) позволила писательнице продвинуться в своих суждениях много дальше «реалистов» и развернуть собственный многоступенчатый дискурс «мелочности». И все же начинает автор традиционно — не со «слов», а именно с «вещей».

«Утренняя домашняя часть дня закончена... Остается собрать тару. Как все в городе, он ходит с тарой — на случай выдач. Как все в городе, он боится потерять карточки и проверяет их неоднократно. Бумажник с карточками, документами, деньгами укладывается в один кармашек портфеля, в другой — металлическая коробочка с табаком, мундштуком и курительной бумагой. Сумка с банками разного формата и свернутой в клубок авоськой пойдет через плечо. Этот участок, выделенный из хаоса, неплохо у него организован»⁴.

Сразу заметно множество мелочей, утяжеленных нарочитой замедленностью описания, но важно увидеть, что, кроме того, здесь присутствует не один план изображения «мелочного». Необходимость мелких предметов здесь сочетается с гипертрофированным страхом за них, а все вместе они включаются в малость «выделенного из хаоса» участка. Та-

³ Гинзбург, Л. Претворение опыта. Л., 1991.

⁴ Там же. С. 5.

ким образом, мелочное бытие имеет свою субординацию, которую автор, как и его «организовывающий» герой, стремится соблюдать, чтобы не потерять дискурсивную нить в затягивающих перечислениях.

Далее: «Выход из дому на работу имеет свою прелесть. Несмотря на маленькие победы и достижения, дом — это все же хаос, изоляция»⁵. Этими двумя фразами автор задает темп всего дискурса — он сильно замедлен по сравнению с другими блокадными описаниями, на что намекает эпитет «маленькие» в отношении повседневных побед — прочие авторы сразу объявляли бытовые достижения ленинградцев «подвигами», проскакивая необходимость доказательства подобного сопоставления. Гинзбург здесь не торопится, и эта неспешность свидетельствует о размерах дискурсивной конструкции, о дальности предстоящего пути: провозглашение бесценности мелочей должно пройти множество перерассмотрений, прежде чем оно получит право быть обоснованным, а через это право иметь возможность быть сопоставимым с той огромностью, которую представляет собой блокадная катастрофа.

Дальше следует описание работы, на которую был совершен «выход из дома» (в именительном падеже, подчеркивающим самоценность акта), и, соответственно, следующая знаменательная «мелочь»: «В ленинградских сумерках, за затемненными окнами можно было повернуть выключатель. И каждый раз это было как удавшийся фокус. Рождалась иллюзия безопасности. Она всецело противоречила действительному положению вещей, потому что учреждение было одной из целей немецких бомбежек. Но иллюзия безопасности рождалась от электрического света...» Здесь начинается действительное развертывание дискурса, который, чтобы куда-то прийти, должен обладать парадоксальностью гораздо большей, чем простое противопоставление. Собственно, в этом отрывке присутствуют сразу два плана, первый из которых продолжает тему героизма и сразу воспринимается неискушенным читателем: опасность света ничто по сравнению с тем ощущением, которое он доставляет субъекту, хотя бы эта приятность была совершенной мелочью по сравнению с жиз-

⁵ Гинзбург, Л. Указ. соч. С. 6.

нью, могущей прерваться от этого удовольствия. Второй же план прикрыт и задается одной деталью — «за затемненными окнами». Если этот нюанс будет не критично воспринят тем же читателем, последний, потеряв почву для переживания героизма описаний, может почувствовать себя обманутым. Возможно, именно здесь автору следовало бы «сбиться с тона» и осознать дальнейшую бесплодность разбора, не ведущего ни к чему, кроме ненужных (и к тому же вызывающих у аудитории чувство вины) подозрений. Но тема уже предзадана, и автор приступает собственно к «разговорам», прощая каждый эпизод собственными трактовками, в структуре которых «мелочный вопрос» присутствует постоянно, хотя и не всегда прямым образом.

«Ярцев: Зинаида Александровна, как у вас с огородом? Вы взялись за это?»

Заговаривает об огороде отчасти потому, что сейчас это одна из ближайших тем... К тому же этот вопрос открывает возможность перехода к собственным огородным делам.

— Видите, я не могу копать. У меня больное сердце.

З. по обыкновению взялась за дело, имеющее общественное значение. Ничего пока не сделала. Охотно говорит потому о препятствиях

— А я, знаете, взялся. — Ярцев перешел к разговору о собственном огороде.

— И вскопали? (Ей хочется, чтобы он тоже ничего не сделал.)

Наташа: Подождите! Я вам принесу завтра лопату. И вскопаю. Я очень люблю работать на огороде.

Наташа томилась оттого, что так долго была вне разговора и внимания окружающих. Вмешательство в порядке украшения жизни усталого человека. Люблю работать на огороде — то же, что люблю зажигать спички. Это внедрение своей личности в данный участок бытия.

З.: Почему ты не взяла участок? (З. делает наставительный вопрос. При случае она склонна воспитывать Наташу)

Наташа: Нет, не хочу.

Подразумевается — она не хочет работать на огороде для удовлетворения собственных нужд, а хочет работать, чтобы украсить жизнь Ярцева...»⁶

Читатель должен быть шокирован — сколько душевной низости за один момент. То, что объяснено самим автором, —

⁶ Там же. С. 35.

лишь малая часть, а сколько остается на долю аудитории, вынужденной делать выбор между совестью и внимательностью! И это — святые блокадники? Да, утверждает Гинзбург, но утверждает не горделиво, как может показаться, — дискурс не окончен, до гордости еще надо дожить. Автор выстраивает поразительный по своей нагроможденности ход: показать нечто мелочью и мерзостью (еще до установления оправданности подобного обвинения) с тем, чтобы потом, согласно общей методе, все это несмотря ни на что реабилитировать. Но пока чем дальше — тем страшнее:

«З. настойчиво ведет свою тему — тему отрешенности от всего низменного, морального превосходства над окружающими: “Мне нравится, как вы укладываете эту тару”. Это совсем не механическая речевая реакция на внешнее впечатление. Эта реплика расшифровывается: тут все завистливо толкуют о хлебе, который достанется этой женщине, а меня занимает, например, ловкость ее движений»⁷.

Все запутано: неясно, кто здесь хуже выглядит в своей «мелочности». Очевидно одно: автор бьет все злее, вскрывая все более тонкие низости в подтексте реплик героев и «героев» в нарочито литературном смысле, а не в социальном — блокада здесь специально как бы «ни при чем». Но при этом она все же присутствует и вместо того, чтобы «высказать», дает повод для очередной «мелочной низости» — изображении ситуации: у З. украдена часть карточек. Сцена обсуждения произошедшего:

«О. Н.: Но как же это. Я все-таки не могу не возвращаться к этому вопросу.

З.: Не стоит об этом говорить.

О. Н.: Господи, пять дней без хлеба — это ужасно.

— Хорошо, что остальные остались.

— Что же — только хлебные? Так что водку и изюм вы получите?

— Водку я получу. Признаться, я предпочла бы хлеба.

— За вашу водку вы можете получить на месяц хлеба.

— Не будем об этом говорить...»

Любопытно, как все это у Гинзбург непросто. Реабилитацию «мелочности» в данной ситуации вполне можно было бы совершить через простое акцентирование изображения праведного испуга по поводу произошедшего — так обычно и по-

⁷ Гинзбург, Л. Указ. соч. С. 49.

ступали другие авторы, причем срывающие морализаторское зло грубо доказывали, а более адекватные понимали, что дополнительные разъясняющие трактовки здесь излишни — читателю и так ясно: тут-то как раз не мелочь, страшное горе — не бумажки украдены, хлеб, жизнь и т. д. Но Гинзбург не ослепляется сама и не дает читателю ослепиться праведным ужасом: водка-то, как товар, осталась (вспоминаем Маркса — стоимость, эквивалентность... Водка — дело очень и очень эквивалентное во все времена). Автор не изменяет своему трезвому психологическому взгляду и рисует совсем другую мелочь: пострадавшая хотела пощеголять горем и расстроилась, когда ей подсказали практический выход, но — еще шаг в «мелочные глубины» — свое огорчение скрывает, причем достаточно глупым образом, продолжая играть в человека, мужественно переносящего горе (которого, как всем ясно, уже нет). Мелочь как особенность поведения опять сравнялась с «мелочностью» и снова подвергается осуждению.

К «все же оправданности» всей этой невероятно несимпатично изображенной каши из личностных мелочей автор приходит очень нескоро, через много витков — и в этом также, видимо, есть умысел: взрастив в читателе своими точными, почти «психоаналитическими» трактовками непобедимое отвращение — причем взрастив хитро — то отступая обратно к жалости к «мелочистам» (все же несчастным — ведь контекст!), то с новой силой набрасываясь на мелочную подоплеку — после резко возвратив к задуманной с самого начала горькой гуманности, но уже во второй части повести (изображение редакторской столовой). Именно там вся мелочная болтовня о нарядах, литературных достижениях и обидах приобретает, на первый взгляд, «то самое» звучание — глубоко закономерная попытка личности «сохранить облик», что автором одобрительно и отмечается в начале описания. Но и здесь стройный аккорд под названием «всюду жизнь» (так давно ожидаемый читателем) снова искажается, дает фальшивинку:

«С. (застегивает портфель).

Л.: Что, он у вас не застегивается?

С.: На один замок...

Л.: Ну хоть на один... (глядя в окно): Какой вид из этого окна замечательный. Я всегда люблюсь.

С.: Да, какие-то такие ассоциации возникают... с морем... с Ялтой...

(*Интерпретация автора*): Обмен бессмысленными репликами. Знакомым людям сидеть за одним столом и молчать неловко. Они заполняют пустоту чем попало — разговором о незастегивающемся портфеле. Замечание о виде из окна сопровождается, впрочем, удовлетворением от выражения своих эстетических переживаний. Нелепая ассоциация с морем и Ялтой означает, что С. просто хочется сказать тоже что-нибудь красивое»⁸.

После этого вскрывания внутренней пустоты следует ожидать нового апологического витка, доказывающего право героев на подобные вербализации, но процесс «отрицания отрицания» прерывается, ломаясь в следующем отрывке:

«И. преодолела дистрофию, но не прекращала интеллектуальной жизни и научной работы... следовательно, И. ощущает свое поведение как героическое... и, надо сказать, это высшая ступень по сравнению с теми, кто использовал катастрофу как внутренний предлог...»⁹

Здесь Гинзбург сама себе противоречит: не заметив тонкой самоценности эмоции собеседника в предыдущем примере с Ялтой (а тонкость была — какой-нибудь другой литератор неожиданность ассоциации «нелепостью» не назвал бы, увидел бы в ней хоть «что-то»), она зато отмечает безусловно героическое, но все же более примитивное (в смысле легкости восхваления) поведение И. Этот героизм вполне может быть «не без эгоистического греха» (чем он лучше предыдущих?), но писательница — обязываемая необходимостью нового противопоставления — вынуждена одобрить его как пример «противостояния» мелочности сослуживцев (хотя она, согласно предыдущим выводам, мелочностью вовсе не являлась) и т. п.

Автор вынужден находиться в ситуации, когда, совершая (как ему кажется, вполне закономерно) поочередные опровержения и утверждения оправданности «мелочи», он оказывается втянутым в неконтролируемый поток парадоксальности. Обуздать «мелочный дискурс» не удастся даже не потому, что он требует слишком пристального внимания, но

⁸ Гинзбург, Л. Указ. соч. С. 69

⁹ Там же. С. 63.

поскольку сама эта «пристальность» уже подразумевает «мелочность», вступающую в реакцию с описываемым и запускающую механизм побочных обращений «переоценок», что совершенно запутывает дело. То, что представляется прогрессивным движением к «истинной цене» мелочи, оказывается беспорядочным метанием от одной из этих мелочей к другой, причем все они оказываются не только «разноразмерными» (что уже само по себе уничтожает поступательность дискурсивного движения), но и сцепленными с «мелочными» трактовками автора, видящего подтекст каждой «мелочи» «до самых мелочей», но не замечающего собственной интерпретационной неосторожности, которая порой выглядит крайне двусмысленно. Например, последняя «разговорная» мелочь звучит следующим образом:

«Нервная писательница: Вы что же, хотите получить литературную карточку?

Вопрос задан грубо. Художница сначала растеряна от прямоты вопроса: потом в свою очередь с прямой несытого человека:

— Я? Да, я хотела бы получить...

— Вы знаете, прикрепленных к Союзу вообще отменяют.

(*Комментарий автора*): Эта фраза — жестокость истерички»¹⁰.

Вся оправданность «мелких выпадов» — пусть даже и несимпатичных, но необходимых для поддержания собственного достоинства терпящих бедствие (на доказательство «мелочных прав» которых Гинзбург потратила столько сил) — уничтожается ругательным диагнозом, и читателю должно быть неясно — за что вдруг так?

Шествие, а точнее, скакание мелочи по разным ценностным конфигурациям дискурса продолжается. Сам автор в конце концов постигает следующую истину: каждую мелочь можно оправдать или осудить в зависимости не от событийного, а от литературного контекста (который и был изначально выбран, правда, с благими намерениями), а он, как известно, многолик и обманчив. В конечном итоге, Гинзбург, отчаявшись, к концу произведения переходит на суждения вроде следующих: «Чего только не говорят (*при артобстреле*)... одна говорит, что она не боится, потому что у нее дистрофическое равнодушие. Другая, напротив, говорит, что она

¹⁰ Там же. С. 79

безумно боится, но когда при тревоге на нее кричат, чтобы она немедленно шла в подвал, она раздраженно отвечает, что невозможно дистрофику десять раз бегать вниз и вверх... третья говорит, что она безумно хочет жить и боится умереть, но что в подвале можно сидеть месяц, но нельзя сидеть два года, и поэтому она вечером ложится спать до утра»¹¹. Гинзбург в итоге отказывается от попытки разобрать, какие же из всех этих проявлений серьезны, а какие на самом деле мелочны — возможность оценки давно утеряна, потонула в бесконечных уточнениях и парадоксальных противопоставлениях. Скатывание от «психологического анализа» к общим описаниям свидетельствует о желании автора выйти из дискурсивной игры, о невозможности продолжать разбор на том уровне, которого первоначально предполагалось достичь и который оказался даже не «многоплановой сложностью» (к этому-то автор был готов), но лишаящим разумной опоры полным хаосом. Именно потому возникают вдруг контекстуально непонятные и даже неприятно-сомнительные суждения: «Странное дело — ленинградские травмы и страхи не внушают доверия. *Так не боятся* (sic!). Настоящий страх то вытеснен другими заботами, то подавлен общей нормой поведения»¹².

Эти странные сбои свидетельствуют о том, что текст оказался настолько измучен «мелочными поисками», что отказывается служить автору. Гинзбург заканчивает произведение следующей фразой: «Самосохранение — это тщательность, пристальное внимание к таким подробностям поведения, на которых невозможно сосредотачивать волю месяцами, годами». Неожиданная поверхностность вывода (усиливаемая стилистикой канцелярского назидательного оттенка) завершает «мелочное путешествие»¹³.

Итак, дискурс оказался недоразвернутым, он не только не достиг «высшей точки», но в конечном итоге потерял и приобретенное в пути, упав даже ниже начального уровня (невзыскательная банальность утверждения ценности мелких блокадных событий обладала перед выстроенной Гинзбург слож-

¹¹ Гинзбург, Л. Указ. соч. С. 80.

¹² Там же.

¹³ Там же.

ной системой, по крайней мере, тем преимуществом, что не вызывала «мелочных» подозрений у читателя). И видимо, причиной этого падения явилась изначальная шаткость самой «первой посылки», ее абсурдность, заключающаяся не в принципиальной неверности (здесь, напротив, практичность автора, описывающего все тонкости поддержания бытового порядка в блокадной квартире, является гарантом реалистичности его слов), но абсурдность, доставшаяся автору по наследству от всего предыдущего дискурса, запутавшего и захаотизировавшего вопрос о мелочах до такой степени, что разрешить его с одного захода (пусть даже и через сколь угодно длинную цепочку тезисов и утверждений) уже невозможно.

В очерке «Поступки и побуждения», тематически связанном с блокадной проблематикой, писательница упрекает Л. Толстого за его «ханжеское» удивление по поводу того, куда у «интеллигента», человека умственного труда, девается время. «Если бы он знал, как трудно,... когда все, что служит тебе, служит только ценой твоих личных усилий... а если дрова сырые и печку надо раздувать часами? Как же тогда с пятью часами умственного труда?»¹⁴ Эта смелость обвинения «гения, понимавшего все», в черствости и недооценке самого главного — мелочи (теми же дровами и печкой) — представляет собой последний отчаянный ход окончательно запутавшегося в проблеме автора, точно так же не сумевшего (несмотря на уже собственное, обогащенное отрицательным опытом понимание) окончательно решить вопрос о том, что представляет собой эта «мелочь» и как с ней нужно обходиться, чтобы «познать подлинность».

Если говорить о западной постклассической литературе, то она еще ранее воспользовалась результатами этого урока: нельзя поддаваться соблазну порассуждать о роли «мелочи» — не только с позиции защиты и осуждения, но и вообще никаким образом. Этот чрезвычайно притягательный дискурс (как раз особенно притягательный именно для модернистского автора с его «открытием» мира психологических мелочей) закрутит и обманет, оставив горький осадок сомнительного морального утилитаризма и абсурдного резонерства. Пожалуй, именно экзистенциальная литература пер-

¹⁴ Там же. С. 126.

вая подала пример подлинного спокойствия в отношении к проблеме «мелочей»; это спокойствие оказалось вытекающим из самой философской основы концепции — если бытие (и реальность в частности) представляет собой некую отчуждаемую целостность, то в отношении ее частей безразлично, каким образом распределять их в ценностном соотношении. Здесь неожиданно поспособствовала и экзистенциальная теория абсурда, которая, на первый взгляд, посредством обвинения происходящего в «бредовости», сама свела реальность к некоей «мелочи», но на практике, в «литературном остатке» концепции подобный ход мысли обернулся беспристрастностью, нелюбимостью изображения как малого, так и великого. Про экзистенциального автора, несмотря на пресловутую «перегруженность» его описаний, никак нельзя сказать, что он считает, будто все состоит из мелочей — «все» состоит в первую очередь из «всего». «Безразлично, является ли определяемое малым или большим, самым большим или самым малым: рассмотрение бесконечности делает определяемое не зависимым от этого вопроса, подчиняя его архитектурному элементу, который во всех случаях обнаруживает самое совершенное или лучше обоснованное»¹⁵, — замечает Ж. Делез в «Различии и повторении».

Постепенно все более очевидной становится непреодолимая порочность круга: чтобы дать этическую оценку акту определения статуса «мелочи», требуется сначала разобраться в том, что следует считать мелким, разработать алгоритм соотношения явления с той или иной степенью «величия», создать некую матрицу — но даже если бы подобная таблица и была каким-то образом создана, то она непременно вынуждена была бы, в связи с уже рассмотренной схемой инверсии мелочи, раз за разом «выворачиваться наизнанку».

И потому в эпоху модерна и, тем более, постмодерна парадоксальное зеркало начинает таять, мир опять приобретает нормальные размеры, хотя и происходит это также по предзаданному парадоксальному методу. От изображения «десяти дней, которые потрясли мир» и которые заявляют о своей значимости в открытую, постклассическая культура переходила ко все более тонким формам «флирта с мелоча-

¹⁵ Делез, Ж. Различие и повторение. СПб, 1998. С. 21.

ми», подыскивая каждый раз более хитрые способы удовлетворения инверсией, все сильнее растягивая ту нить, по которой мелочь перебирается в свою противоположность. В частности, для этого приходится все сильнее настаивать на «обыкновенности» происходящего (именно это определение пропущено в вариантах вроде «Один день Ивана Денисовича» и пр. — и авторы осуществляли этот пропуск с чистой совестью, ощущая, что они даже поспособствовали «утонению» мелочной игры, питающейся читательскими догадками). Наслаждение «мнимой обыденностью» держится долго, а потом срывается на обыденность подлинную. От развертывания самодовольного дискурса по поводу каждой из вещей, составляющих горестное содержимое личного бытия, авангардная традиция доходит до павичевского «ящика для письменных принадлежностей», содержимое которого, несмотря на все изысканные перипетии описания, не подразумевает никакой катастрофичности. Тот негативизм, на основе которого субъект ранее оперировал великими мелочами, дойдя до совершенства, теряет пружинную сжатость и повисает, выйдя на простор единого текстового пространства постмодернистской ситуации. «Слово, поломавшее жизнь», в сегодняшнем варианте не только соседствует, но и вынуждено соперничать с удивлением по типу «пустячок, а приятно» — и последний иронически скромный вариант оказался живучее пафоса парадоксов.

«И все же речь здесь идет о капле крови, а у нас, затопленных океаном, чувствительности к капле нет»¹⁶. В этом рассуждении может почудиться некая примитивизация проблемы, именно потому, что здесь подозрительно мало привычной парадоксальности, но это свидетельствует как раз о том, что дискурс мелочного гротеска подошел к своей завершенности. «Не мелочись. Будем считать, что мы квиты», — говорит кому-то по какому-то незначимому поводу один из маленьких героев туве-янсоновского маленького мирка. «Мелочный дискурс» таким образом сделал попытку расквитаться сам с собой, по возможности не оставив долгов.

И опять Раймон Льюль: «Умер любящий от великой любви. У себя похоронил его Возлюбленный, и воскрес тогда

¹⁶ Палей, М. Месторождение ветра. СПб., 1998. С. 76.

Любящий. Неясно лишь, какой из этих даров был для любящего бесценнее¹⁷. Здесь «неясность» — уже не кокетство, но подлинное недоумение, «прогрессивное возвращение» к нежеланию и неумению разбираться в приоритетах. Настораживает лишь оговоренное в тексте условие, с выполнением которого игра становится неактуальной и может закончиться в «общую пользу». Делез, рассуждая о перипетиях бесконечно великого и малого в понимании субъекта, также обращается к идее смерти. Даже в бытовом представлении субъекта, выросшего на «мелочном» дискурсе и мыслящего в его категориях, существует мнение, что незадолго до смерти происходит резкое гипертрофирование всех мелочей с отказом считать их таковыми — и уже по одному этому характеру «мелочного» дискурса можно распознать ее приближение. И потому не случайно столь навязчиво долгое время говорили о «смерти философии», неосознанно понимая под этим именно это дискурсивное выравнивание как ломку иерархии, новоприобретаемое и незнакомое умение обращаться с «мелочью» без привлечения игры в приоритеты.

¹⁷ Льюль, Р. Указ. соч. С. 48